

ПЕРЕЧИТЫВАЯ ЗАНОВО

ЗДРАВСТВУЙТЕ, ИВАН ДЕНИСОВИЧ!

СТОЮ в толпе возле огромного полотна «Мистерия XX века» — это на выставке Ильи Глазунова, которая сейчас популярна в Москве. Люди расшифровывают картину словно ребус.

— Видишь: это Мао Цзэдун, — объясняет своей подруге интеллигентный молодой человек лет 25—26. — Это, по-моему, Бунин. Там — Кеннеди. А это, кажется, сам художник.

— В гробу Сталин, да? А кто вон тот — шведская борода, лицо такое печальное?

— Это?... Это...

— Это писатель Александр Солженицын, — прихожу на помощь молодому человеку. — Доводилось что-нибудь читать?

— Да что вы: где же достанешь?! Ну, положим, достать можно, было бы желание. Конечно, книги этого автора у нас не выдаются, но зато в библиотеках есть комплекты старого «Нового мира», и можно разыскать ноябрьскую книжку 1962 года.

«Оглядывая прозу 1962 года, — писал недавно в «Неве» (№ 6) критик В. Оскоцкий, — негоже, да просто несолидно прикидываться, лукаво делать вид, будто и слыхом в те времена не слыхивали о повести А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича».

Верно сказано! Повесть прозвучала подобно грому при ясном небе, только и было о ней разговор. Никому дотеле неизвестное имя 44-летнего жителя Рязани стало произноситься буквально на всех перекрестках.

Тому из советских читателей, кто младше сорока, и кому сегодня вполне доступны «Жизнь и судьба» В. Гроссмана и «Дети Арбата» А. Рыбакова, очень трудно понять, что означало в 60-х годах появление художественного произведения «о лагерях».

Представьте себе ситуацию начала шестидесятых. Тысячи и тысячи людей уже вернулись домой из Магадана и Норильска, из Воркуты и Джезказгана, из Акмолинска и Ивделя... Снята колючая проволока, окружавшая строительные площадки Московского университета на Ленинских горах, сибирских заводов, грандиозных ГЭС... Состоялись XX и XXII съезды партии. Исчезли статуи и бюсты, барельефы и горельефы, живописные и фотографические портреты вождя. Но никто еще ни разу не обмолвился в художественной литературе о тех кругах сталинско-бериевского ада, по которым прошли миллионы соотечественников. Ни от замученных и казненных, ни от погибших, ни от оставшихся в живых не донеслось еще в те времена ни вздоха, ни стона, ни крика.

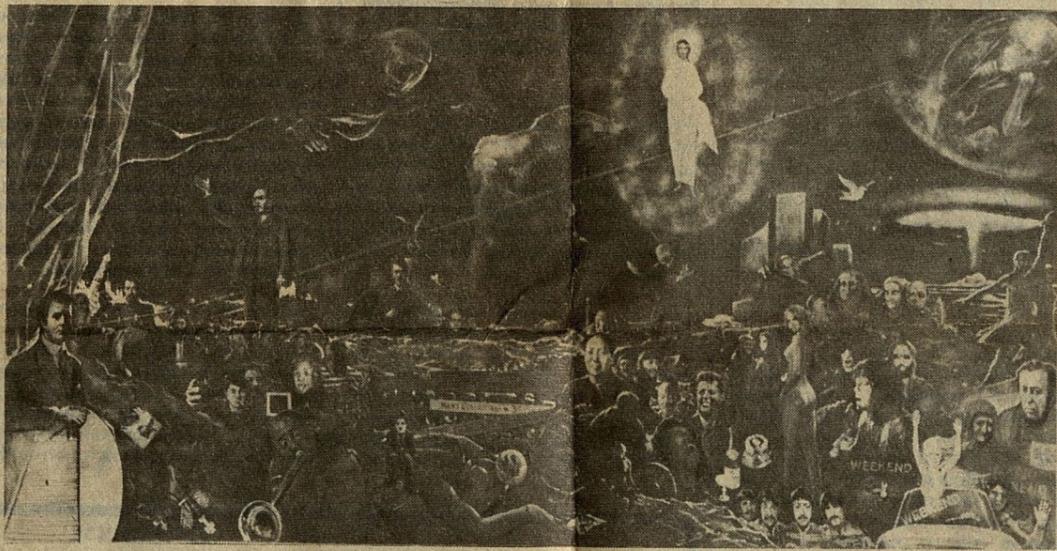
Солженицын — в «Новом мире» Александра Твардовского — был первым, кто открыто рассказал об этом. «Один день Ивана Денисовича» — так называлась эта повесть.

Герой Солженицына — Иван Денисович Шухов, заключенный Ц-854, деревенский мужик, а потом рядовой красноармеец, бежавший из двухдневного немецкого плена и схлопотавший за то десять лет срока в сталинских лагерях как «изменник родины», отвечает на вопрос, поставленный перед ним жизнью и злой судьбой: как выжить? Отвечает не словами, не мудрствуя: он просто-напросто работает от сна и до сна, не давая себе секундной пощады. Вот и весь его ответ: делать и делать полезное дело без

передыха, что бы то ни было — и все. И больше ничего. А там — перемелется, перемается, перетерпится: жив будешь.

В этом смысле он кровный родственник таким замечательным персонажам современной прозы как, скажем, беловский Иван Африканович («Привычное дело») или жогаевский Федор Кузькин («Живой»): схожи и возрастом, и происхождением, и умением, и судьбой. Имеет ли, в сущности, какое-либо значение, что они живут (выживают), работают и мучаются по разные стороны колючей проволоки? В послевоенном ли колхозе, в лагере ли — везде не сахар.

Самое интересное то, что Солженицын, рисуя ад, показал живую жизнь. Он не ставил целью пугать читателя лагерными ужасами, хотя и мог бы сделать это без труда. Солженицын выступил прежде всего — художником. И поэтому трудно согласиться с В. Шаламовым, написавшим, что в лагерной теме «разместится сто таких писателей, как Солженицын, пять таких писате-



Картина Ильи Глазунова «Мистерия XX века» и ее фрагмент с изображением Александра Солженицына.

лей, как Лев Толстой. И никому не будет тесно». Не умаляя достоинств ни одной из книг на эту тему (и тем паче — достоинства их авторов), все-таки не каждую поставившую рядом с «Одним днем». В том числе — все остальные книги того же автора.

Чего стоят хотя бы заключительные строки последней, 66-й страницы этой маленькой, просто-таки крохотной повести! Вот они:

«Засыпал Шухов, вполне удовлетворенный. На дно у него выдалось сегодня много удач: в карцер не посадили, на Соцгородок бригаду не выгнали, в обед он закосил кашу, бригадир хорошо закрыл процентовку, стену Шухов клал весело, с ножовкой на шмоне не попался, подработал вечером у Цезаря и табачку купил. И не заболел, перемогся.

Прошел день, ничем не омраченный, почти счастливый.

Таких дней в его сроке от звонка до звонка было три тысячи шестьсот пятьдесят три.

Из-за високосных годов — три лишних дня набавлялось...»

В ТУ ПАМЯТНУЮ ОСЕНЬ 1962 года вместе с Шуховым в обиход вошли незнакомые для многих (а для многих, наоборот, очень памятные), никогда не употреблявшиеся в литературе слова: зона, эск, стукач, вертухай, придурок...

Время действия «Одного дня

Ивана Денисовича» и время публикации повести разделяло десятилетие с небольшим. А это означало, что в числе наиболее заинтересованных читателей были и вчерашние эски, и вчерашние вертухай. Ее читали, узнавая себя, те, кого автор назвал в повести Цезарем Марковичем и Кавторангом. Читали бывшие конвоиры и надзиратели, отставные начальники лагерей и стукачи. Описанный в повести лейтенант Волковой (или его прототип) не успел, должно быть, дослужиться даже до майорских звездочек, а если был уволен из органов расформированного МГБ — еще не доработал до гражданской пенсии. И он тоже читал «Один день». Кстати, вполне допускаю, что и этот номер «МН» застал бериевского лейтенанта в живых.

Словом, можете себе представить, насколько многоцветным был спектр читательских эмоций: от искреннего восхищения книгой и автором до самой лютой неприязни.

Потом прокатилась целая волна повестей, романов, мемуаров — в открытой периодике, а чаще в самиздатском варианте. Одни авторы считали, что Солженицын не нарисовал картину в ее подлинной жуткой яви, и старались восполнить пробел. Другие же, наоборот, подспудно, но настойчиво проводили мысль, что Колыма, конечно, не

Лазурный берег, но и не так страшен черт, как его малюют, а среди следователей и надзирателей нередко встречались милейшие люди.

И мы, читатели, всегда сравнивали: «А это, знаете, посылнее, чем у Солженицына...», «Нет! Солженицын все-таки...» и так далее.

В брежневские времена лагерная тема вновь оказалась под запретом: вроде бы ничего такого и не было — ни эзков, ни «Одного дня», ни его автора...

Сегодня, более четверти века спустя после появления знаменитой повести, понимаешь, насколько навивно мы пользовались ею в качестве «информационного эталона». Главное ее достоинство вовсе не тема. К сожалению, очень немногие (и самый первый среди немногих — Твардовский) оценили «Один день» не только как «документ о лагерях», а как выдающееся событие литературной, нравственной, духовной жизни пробуждающегося общества. А тот, кто увидел в ней всего-навсего политическую сенсацию, «бомбу», нечто этакое «на злобу дня», многое недоосмотрел и много потерял. И это особенно понятно именно сейчас, когда рассказами о эзках и зонах нас уже нисколько не удивит. Повесть оказалась намного масштабнее темы. Она ее переросла.

Лев Толстой высказал однажды

примерно такую мысль: можно написать многогранную историю человечества, а можно (и даже лучше) написать историю обычного дня простого мужика — с утра до вечера. И будет равноценно, равнозначно, равновесомо. Он старался было и сам написать, но замысел так и не осуществился. Не знаю, задавался ли подобной целью Солженицын, но мысль Толстого он воплотил так совершенно и цельно, как это не удавалось, кажется, еще никому в отечественной литературе.

Обычный день Ивана Денисовича ответил на самый мучительный вопрос нашего тревожного века: что надо сделать, чтобы, выражаясь словами Бориса Пастернака, «ни единой долькой не отступать от лица»? Как надо жить, чтобы при любых обстоятельствах, пусть даже самых чрезвычайных, в любом круге ада остаться человеком, самостоятельно мыслящей и ответственно действующей личностью, не потерять достоинство и совесть, не предать и не сподличать — но и выжить при этом, пройдя через огонь и воду, выстоять, не переключивая ношу своей собственной судьбы на плечи идущих вслед потомков, — как?

«НОВЫЙ МИР» напечатал повесть с кратким напутствием главного редактора. Читая его, лишней раз убеждаешься, насколько далеко вперед смотрел Александр Трифонович Твардовский:

«Эта суровая повесть — еще один пример того, что нет таких участков или явлений действительности, которые были бы в наше время исключены из сферы советского художника и недоступны правдивому описанию. Все дело в том, какими возможностями располагает сам художник.

И еще один простой и поучительный вывод позволяет сделать эта повесть: истинно значительное содержание, верность большой жизненной правде, глубокая человечность в подходе к изображению даже самых трудных объектов не могут не призвать к жизни и ответственности формы. В «Одном дне» она ярка и своеобразна в самой своей будничной обычности и внешней неприязнательности, она менее всего озабочена самой собою и потому исполнена внутреннего достоинства и силы.

Я не хочу предвосхищать оценку читателями этого небольшого по объему произведения, хотя для меня несомненно, что оно означает приход в нашу литературу нового, своеобразного и вполне зрелого мастера.

Не время и не место судить здесь о творчестве А. И. Солженицына в целом, а уж тем более о системе его воззрений. Утверждаю лишь только то, что, на мой взгляд, достаточно проверено и доказано минувшей четвертью века: «Один день Ивана Денисовича» из ряда крупнейших, этапных свершений отечественной литературы.

Произведение истинной литературы всегда созвучно времени его прочтения. Вот, к примеру, эпизод из «Одного дня»: идет Шухов в колонне эзков и, вспоминая письмо жены, размышляет о странном промысле «красилей», обывавшихся в его родной деревне, — они рисуют ковры по трафаретам и заколачивают неплохие деньги. Не заняться ли, думает, и ему по выходе на волю таким делом?

«Но, по душе, не хотел бы Иван Денисович за те ковры браться. Для них развязность нужна, нахальство, кому-то на лапу совать. Шухов же сорок лет землю топчет, уж зубов нет половины и на голове плешь, никому никогда не давал и не брал ни с кого и в лагере не научился.

Легкие деньги — они и не весят ничего, и чутья такого нет, что вот, мол, ты заработал. Правильно старики говорили: за что не доплатишь, того не доносишь. Руки у Шухова еще добрые, смогают, неуж он себе на воле ни печной работы не найдет, ни столярной, ни жестяной?»

Читаешь и думаешь: до чего же нужны нам сейчас — в 80-х годах здесь, на Родине — такие вот мудрые головы и смогающие руки. Так и просится сказать Шухову как живому: «Здравствуйте, Иван Денисович! Долгие годы здравствуйте!»

Лев ВОСКРЕСЕНСКИЙ.